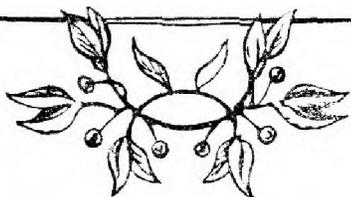


РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О ЯЗЫКЕ

Х Р Е С Т О М А Т И Я



ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
А. М. ДОКУСОВА

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

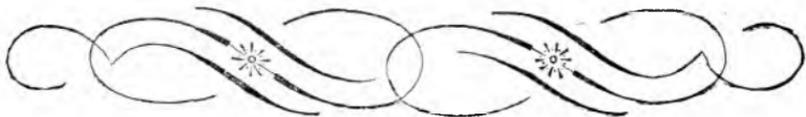
A small decorative flourish consisting of two curved lines meeting at a point, centered below the text.

A decorative flourish consisting of a central winged element, possibly a stylized bird or flame, centered above the text.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Л Е Н И Н Г Р А Д

1 9 5 5



Н. Г. Чернышевский

О ЯЗЫКЕ — НАЦИОНАЛЬНОМ, ОБЩЕНАРОДНОМ ДОСТОЯНИИ

✓ ...Гибок, богат и при всех своих несовершенствах прекрасен язык каждого народа, умственная жизнь которого достигла высокого развития.

*1885—1887. Предисловие к русскому переводу «Всеобщей истории» Вебера, т. VII, Соч., т. X, стр. 848.**

В лингвистическом смысле народ составляют все люди, говорящие одним языком.

Там же, стр. 852.

БОГАТСТВО И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

Словопроизводство в русском языке, подобно словоизменению, отличается, сравнительно с тою же стороною других новейших европейских языков, гораздо большим разнообразием. Можно даже сказать, что русский язык (подобно [некоторым] другим славянским наречиям) развил в себе много таких способов произведения слов, которые остались мало развитыми в греческом и латинском языках, по богатству словопроизводственных способов стоящих несравненно выше новых европейских языков.

Было бы слишком обширною задачею рассматривать здесь русское словопроизводство во всех его отраслях; потому ограничимся одною — теми случаями словопроизводства, которые находятся в самой ближайшей связи с грамматическими флексиями слов (склонением, спряжением и возвышением в степени).

Почти то же самое, что для прилагательного возвышение в степени, для существительного — образование уменьшительных, ласкательных и т. д. слов. Не будем говорить о богатстве этих изменений в русском языке: оно давно признано всеми. Покажем только отношение русского языка в этом случае к другим родственным.

* Высказывания Н. Г. Чернышевского цитируются по Полному собранию сочинений в пятнадцати томах. ГИХЛ, М., 1939—1951.

В латинском языке довольно много уменьшительных окончаний; но увеличительных (мужичище и т. д.) [почти] решительно нет; несколько отдельных слов в роде *virago* (-девчище), неправильно образованных, ничего не значат, не составляя отдельного класса; от имен собственных римляне почти не могли производить уменьшительных (слова в роде *Teventilla* от *Terentia* и т. д. редки, малоупотребительны, и почти лишены уменьшительного значения). В греческом [еще] гораздо меньше, нежели в латинском, уменьшит. нарицат. имен; но зато есть уменьшительные собственные имена, впрочем, довольно малоупотребительные, и едва ли не в одном только пошлом смысле (сравн. употребление женских имен с уменьшит. окончанием, Γυζερζόν и т. д.). В немецком только одно окончание для уменьшения (слова, принимающие *chen*, не могут принимать *lein*, и наоборот). В английском уменьшит. форму принимают только собственные имена; во франц. также, и эта форма бывает в обоих языках почти всегда только одна для каждого имени. У нас этих форм множество.

Наши уменьшительные от нарицательных имен имеют, кроме значения уменьшения, еще значение привязанности или нежности — этот оттенок могут принимать существительные уменьшительные почти только в одном итальянском, который из всех известных нам языков только один выдерживает до некоторой степени соперничество с русским в образовании уменьшительных и увеличительных (обладая окончаниями обоих разрядов, но с гораздо меньшим разнообразием, нежели русский).

Надобно сказать, что народный (великорусский) язык превосходит литературный язык в этом отношении; и что народный малорусский еще богаче народного великорусского разнообразием и употребительностью уменьшительных.

Кроме собственно существительных имен, уменьшительные окончания в русском народном языке принимают и не склоняемые части речи (напр. *ась?* (что?) — асенька, от *тут* — туточка и т. д.).

В прилагательных (и в производных от них наречиях) уменьшительные окончания, подобные окончаниям существительных, употребляются в таком же обширном размере. Из других языков только латинский до некоторой степени имеет это свойство (*tantillus* и т. п.) — другие все лишены его.

Чрезвычайно оригинальное явление в русском языке образование особой сравнительной степени с предл. *по* (потихше, полегче) — подобного явления не представляет ни один европ. язык, кроме русского.

В глаголах наши *виды* и неразрывно с ними связанное сочетание глаголов с предлогами придает русскому глаголу такую живость и определенность оттенка в отношении к образу действия, какого не в состоянии выразить ни один язык из известных нам. Некоторое сходство с нашими видами представляют латинские начинательные и (особенно) учащательные глаголы — но их чис-

ло невелико, а употребление очень ограничено. Erubescō еще сохранило начинательный смысл, но ignosco, irascor и т. д. уже потеряли его. Ventito прекрасно выражает учащение, подобно нашему «хаживать», но подобных ему слов в лат. немного и они редко употреблялись. Кроме того, в латинском эти подобия наших видов образуются только окончаниями (sco и ito), а предлоги не участвуют в этих тонких изменениях значения, и потому в русском число [этих] оттенков значения, которое принимает одно глагольное понятие, несравненно более, нежели в латинском (erubescō и ventito — только 2 формы, одна для начинательного, другая для учащат. [оттенка] смысла — в русском этих видоизменений десятки: читаю, почитываю, перечитываю, начитываюсь и т. д. и т. д.).

Нам кажется, что эти бесконечно разнообразны изменения глаголов посредством видовых окончаний и предлогов с единственной целью определить *способ*, каким происходит действие, придает русской фразе живость и определенность, которая в большей части случаев не может быть выражена на других языках; и нам кажется, что эта особенность русского словопроизводства еще драгоценнее его способности к образованию уменьшительных и увеличительных имен.

Точно такое же решительное превосходство русского языка над другими европ. языками по богатству и разнообразию словопроизводства найдется и во всех почти других отраслях словопроизводства.

1854. *О словопроизводстве в русском языке. Соч., т. II, стр. 815—816.*

О ЯЗЫКЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Художественность состоит в том, чтобы каждое слово было не только у места, — чтобы оно было необходимо, неизбежно и чтоб как можно было меньше слов. Без сжатости нет художественности. Поэзия тем и отличается от прозы, что берет лишь самые существенные черты, и берет их так удачно, что они во всей полноте рисуются перед воображением читателя с двух, с трех слов гениального писателя.

На пяти или десяти страницах описать лицо так, чтобы можно было знать все его приметы, — это сумеет сделать самый бездарный прозаик. Нет, вы художник только тогда, когда вам нужно всего пять строк, чтобы возбудить в воображении читателя такое же полное представление о предмете. Пустословие может быть очень милым, изящным пустословием, но с художественностью не имеет оно ничего общего. Поэзия и болтовня — вещи противоположные. Сущность поэзии в том, чтобы концентрировать содержание; разведение водой убивает ее.

1860. *Собрание чудес, повести, заимствованные из мифологии. Сочинение американского писателя Натаниэля Готорна. Соч., т. VII, стр. 452.*

Риторика вещь прекрасная, — почему не городить иногда риторический вздор? — оно и нужно бывает иногда для эффекта; но не следует же постоянно ослепляться своей риторикой для того, чтобы совершенно забывать здравый смысл и факты.

1861. *О причинах падения Рима. Соч., т. VII, стр. 617.*

...Русской публике нравится та манера писать прозой, которой держался Пушкин. Он любил в прозе простоту, чуждался витневатости.

1885—1887. *Предисловие к русскому переводу «Всеобщей истории» г. Вебера, т. X, Соч., т. X, стр. 905.*

ПРОТИВ ЛЖЕНАРОДНОСТИ И «САЛОННОГО» ЖАРГОНА

Как же объяснить, что журнальная критика и масса публики до сих пор не понимали истинного смысла стихотворений графини Ростопчиной?.. Сатиры графини Ростопчиной написаны для предостережения светских женщин и по необходимости написаны салонным языком: ведь другого языка они не захотели бы слушать, даже не поняли бы <...> А известно, как тонка, почти неосязаема ирония салонов. Подумайте сами, могла ли понять журнальная критика, привыкшая к грубому, топорному, смеем выразиться, тону нашей мешчанской литературы, наших Гоголей и Кольцовых и им подобных людей, — ведь и сам Пушкин, сам Лермонтов принуждены были говорить очень неделикатно, чтобы сделать свою иронию понятной для нашей публики, — могла ли эта критика, сама говорившая столь резко и привыкшая рубить с плеча, — могла ли она понять, уловить тонкую, уловимую только для светских людей иронию графини Ростопчиной? Да и кто были критики? Мы очень уважаем их ум и нравственные качества, но должны сознаться, что они воспитывались не в салонах; один был сын купца, другой — семинарист или сын уездного лекаря, третий — мелкопоместный, чуть ли не однодушный уездный дворянин. Чего хотите вы требовать от этих людей, когда дело касается светского языка?

1856. *Стихотворения графини Ростопчиной.*¹ *Том первый. СПб., 1856. Соч., т. III, стр. 466.*

Зачем эти подражатели, не понимая г. Григоровича, подделывались под его манеру? зачем они воображали, будто бездушным подражанием манере можно создавать прекрасное? Зачем они не приняли в соображение, что г. Григорович силен потому, что знает и любит народ, и воображали, будто все дело состоит в крестьянских именах и в замене обыкновенных русских слов такими диковинками, каких читателю с бритой бородой и слышать не приводилось?.. Г. Григорович находит, что поселяне — такие же люди, как и мы, и большею частью люди добрые и неглупые; потому он любит их, и когда видит, что они терпят нужду или притеснение, ему становится жаль их <...>

И вот явились «Деревня», «Антон-Горемыка» и т. д. Автор нимало не делал насилия своему таланту, когда писал их: выбор предмета был направлен любовью к поселянам. Автор нимало не щеголял ни своим знанием крестьянского языка, ни тем, что был в курных избах; он только верно описывал хорошо знакомый ему быт. Видно было, что он любит поселян, как людей, и сочувствует их интересам. Очень натурально, что повести, написанные с талантом и знанием, оживленные сочувствием автора к изображаемым людям, имели успех. Успех основывался на существенных, неотъемлемых достоинствах произведений.

Но люди догадливые относительно средств всеми правдами и неправдами добиться литературного успеха, тотчас же сообразили, в чем дело. Они догадались, что успех повестей г. Григоровича основан не на достоинстве повестей, а только на том, что в повестях описываются не такие люди, как мы с вами, а совершенно невиданные никем — какие-то чудачки с бородами и в онучах, и говорят эти чудачки-мужики вовсе не таким языком, как мы с вами, а каким-то чудным, неслыханным языком. Таким-то легким образом был найден рецепт для приобретения литературного успеха: публика восхищается странными нравами мужиков и диковинным их языком — начнем же угощать ее этими блюдами, и разделим успех г. Григоровича, а пожалуй, достигнем и большего успеха, потому что перещеголять его в поражении публики диковинными нравами и языком вовсе нетрудно: он далеко не вполне пользуется теми обильными материалами диковинных особенностей, какие могут быть найдены в сельском быте. Покажем ей, что мы умеем говорить по-мужицки гораздо лучше г. Григоровича, что мы — если уж на то пошло — знаем крестьянской быт, как свои пять пальцев.

И принялись удивлять публику своим знанием крестьянского быта и мужицкого языка.

И, действительно, удивили, — только не в том смысле, как рассчитывали. В произведениях, писанных на новую тему людьми, не лишенными таланта, публика удивилась пустоте и бесцветности при наружной эффектности, а в произведениях людей бездарных — огромности претензий и страшной фальшивости тона... Неудачные подражатели г. Григоровича вообразили, что публика восхитилась в его повестях новизною; но ужели огромное большинство русских читателей не знало крестьянского быта и не слыхивало крестьянского языка?.. Нимало: каждый читатель сам знал очень хорошо русских мужичков и, быть может, половина читателей провели жизнь в самых тесных сношениях с ними. — Или печатные рассказы о мужиках были новостью, когда явилась «Деревня»? Если публика знала крестьянский быт, то, быть может, по крайней мере, литература чуждалась его описаний? Нимало: от «Фрола Силина» Карамзина до героев Загоскина тянется непрерывный ряд литературных мужиков, и в то самое время, когда начал писать г. Григорович, были очень

известные рассказчики, вся деятельность которых была посвящена описанию простонародного быта. Стало быть, по той сфере, из которой взято содержание «Деревни», повесть г. Григоровича вовсе не была новостью.

Правда, было в пей нечто новое, но вовсе не мысль описывать крестьянский быт: ново было то, что крестьянский быт описывался верно, без прикрас, что в описании был виден сильный талант и глубокое чувство, возвышающееся до самой патетической поэзии. Этим качествам подражатели не вздумали подражать, потому, вероятно, что не считали их важными, не чувствуя присутствия их в себе... По их мнению, мужики понравились публике, как диковинка, заняли ее странностями языка и нравов. Этими-то качествами мужиков и хотели они выиграть, выказывая удивительнейшее, по собственному мнению, умение владеть языком и подмечать особенности обычаев поселян. Действительно, мужики у них заговорили так, что не употребляли ни одной фразы, которая имела бы смысл на обыкновенном русском языке (которым, между прочим, говорят и крестьяне, не имеющие средств объясняться на иных языках), не произносили ни одного слова, не исковеркав его; да и то была еще милость, когда только коверкали обыкновенные слова, а не вовсе отказывались от них, заменяя их неслыханными в народе русским предложениями, заимствованными из «Словаря областных наречий» <...> И на каждое диковинное словечко своих мужичков, на каждое несообразное с обычною логикою понятие, на каждый странный жест их, автор радовался, сам дивясь чудному своему знанию всех никем дотоле не подмеченных особенностей народного быта и языка. Г. Григорович никогда не достигал такой высоты: у него мужики и говорили, и думали, и поступали по-человечески, отличаясь в языке и обычаях от остальных русских не более того, как отличаются действительные, живые русские поселяне, которые и говорят и думают о житейских делах почти так же, как и всякий другой человек, не получивший книжного воспитания. Мы уж сказали, отчего происходила эта разница: г. Григорович не изумляется своему знакомству с поселянами, не находит нужды щеголять этим знакомством, он привык видеть в поселянах людей таких же, как и мы с вами, читатель, или, быть может, и несколько лучших, нежели большая часть из нас; он — какая редкость! — он и любит их просто, как людей, а не как чудачков, странности которых могут давать литераторам поживу для курьезных описаний. Если в каком-нибудь уезде поселяне произносят «хурушу» вместо «хорошо», это, по его мнению, такая же драгоценная для поэзии и такая же восхитительная для него находка, как и «харашо», которое произносим мы вместо «хорошо». Но для многих из его подражателей поселянин, в самом деле, диковинка, знанием которой не могут они довольно нащеголяться, и на употребление «хурушу» основаны и надежда их на славу и любовь их к поселянам <...>

Г. Григорович не забавляет себя и публику набиранием странных слов и странных обычаев (чем ограничиваются другие): в его «Переселенцах» есть живая мысль, есть действительное знание народной жизни и любовь к народу; у него поселение выводится не за тем, чтобы исполнять должности диковинных чудачков с неслыханным языком: нет! Они являются, как живые люди, которые возбуждают к себе полное ваше участие. В этом и причина постоянного успеха его повестей и романов из сельского быта.

1856. Заметки о журналах.² Август 1856 г. Соч., т. III, стр. 690—695.

Подобное положение было у нас при Сумарокове и даже при Карамзине. Некоторые русские отрекались от родного слова для французского языка и презирали русскую литературу, провозглашая, что на мужицком языке нельзя читать книг, а надобно читать на французском.

1861. Национальная бестактность. Соч., т. VII, стр. 788.

Мы начинаем обращаться в славянофилов. Три месяца тому назад, когда мы хотели выразить впечатление, производимое львовскою газетою «Слово», нам подвернулись слова иностранного происхождения — «национальная бестактность». Теперь совершено такое же впечатление, произведенное двумя первыми номерами московской газеты «День», выразилось у нас словами чистейшего русского происхождения. Значительную долю славы за это спасительное обращение наше, история, по всей вероятности, припишет «монументальному», по выражению «Дня», труду В. Даля: «Толковому словарю живого русского языка», в котором предлагаются чистые русские слова на замену всех взятых от латинских, люторских и других нехристей; например, астрономический термин «абerrация» заменяется золотопромышленным словом «россыпь», «абордаж» — словом «сцепка», «абориген» — «коренник или сидящий на корню», «авангард» — «переды или яртаул», «автограф» — «своеручник», «автомат» — «самодвига», «живуля», «живышь», и так далее.

1861. Народная бестолковость³. Соч., т. VII, стр. 828.

Странный человек г. Даль! Все утверждают, что он необыкновенно много знает о быте, нравах, способе рассуждений и образе выражений русского народа. О чрезвычайном знакомстве его с народностью рассказывают удивительные вещи: говорят, например, будто бы он так превосходно знает все мельчайшие оттенки местных наречий и поднаречий, что по выговору каждого встречного простолюдина отгадывает не только губернию, не только уезд, но даже местность уезда, откуда этот человек. Мы готовы верить тому, хотя оно — и невозможная вещь. Но достоверно то, что г. Даль знает десятки тысяч анекдотов из простонародной жизни, собрал чуть ли не 50 000 русских пословиц и чуть ли не

полмиллиона слов и оборотов простонародной речи. А между тем — ведь не поверишь этому, если незнаком с его сочинениями — ровно никакой пользы ни ему, ни его читателю не приносит все его знание. По правде говоря, из его рассказов ни на волос не узнаешь ничего о русском народе, да и в самих-то рассказах не найдешь ни капли народности. В одной страничке очерков Успенского или рассказов из простонародной жизни Щедрина о народности собрано больше и о народе сказано больше, чем во всех сочинениях г. Даля <...> Когда-то г. Даль писал сказки, а может быть, кроме сказок, и еще какие-нибудь рассказы, — для простого ли народа, или для публики, не знаем хорошенько, — только знаем, что писал он когда-то и что-то простонародною речью. Простонародная речь эта выходила такая пересоленная, перسخищенная, что от настоящей простонародной речи была дальше, чем перевод Риттера земледелия, делаемый г. Семеновым с сохранением всего смещения языков, какое есть в подлиннике у Риттера.

1861. Картины из русского быта Владимира Даля. СПб., 1861. Соч., т. VII, стр. 983—984.

У массы русских купцов много пошлых и дурных привычек. Не больше ли, чем у массы великосветских людей, или чиновников, или священников и дьяконов? Я этого не думаю... Ее язык имеет глупую вычурность; да, но и всякий другой сословный язык очень вычурен и глуп, в том числе и великосветский, которым восхищаются и которому по мере возможности подражает масса образованного общества; и язык поселян, превозносимый многими....

Письмо И. И. Барышеву 7 августа 1888 г. Соч., т. XV, стр. 725.

ОБ АРХАИЗМАХ

...Пушкин должен был выработать себе язык, конечно, представлявший очень много затруднений. В самом деле, язык Пушкина чрезвычайно много разнится от языка Жуковского и Карамзина.

<...> Пушкин должен был бороться с приемами, которые были введены в привычку прежними стихотворцами, он должен был отбрасывать множество употребительных в тогдашнее время выражений, которые сами собою подвергались под перо и между тем уже не годились для его поэзии. Эта борьба с устарелым слогом, уже не существующая для нас, благодаря решительной победе Пушкина, должна была стоить ему многих трудов, потому что, несмотря на все исправления, оставила в его стихах некоторые следы. Теперь никто не будет отрицать, что у Пушкина часто встречаются устарелые и для его времени фразы. Ему было надобно много усилий, чтобы изгонять таких неотвязных гостей.

1855. Сочинения Пушкина... изд. П. В. Анненкова. СПб., 1855. Соч., т. II, стр. 469.

При известной степени зрелости и развития общества наступает перемена вкуса и, вместе с тем, эстетического взгляда на искусство, и в литературе начинается борьба между старым и новым направлением <...>

Движение римской поэзии состояло в постепенном ее подчинении греческому влиянию, имевшему следствием обработку языка и художественной формы. Это новое направление считало в век Августа своими представителями Вергилия и Горация. Приверженцы старины не щадили ни того, ни другого нововводителя <...> Многие выражения, употребленные Вергилием, называли варварскими, мужицкими. Таким же упрекам подвергался и Гораций. Не были щадимы и писатели, которым обязана усовершенствованною латинская проза. Так, Цицерона упрекали за нововведения в языке и даже называли его аллоброгом, говоря, что он пишет не по-латыни, а на варварском языке. Грамматисты и риторы, занимавшиеся преподаванием стилистики, не считали новых писателей заслуживающими изучения, а классическими авторами признавали одних старинных писателей, в которых восхищались именно тем, что было их величайшим недостатком. Ветхие, вышедшие из употребления слова и обороты превозносились похвалами. Это «литературное староверство» <...> Новые писатели, принужденные нападками, должны были доказывать, что старинные поэты, подражать которым хотели их заставить, не выдерживают эстетической критики; Гораций должен был, в оправдание нововведений, обнаруживать грубые недостатки Луцилия, Пакувия и других писателей, чрезмерно прославляемых приверженцами старины. Одним словом, дело происходило совершенно так же, как происходит теперь перед нашими глазами.

1855. *О литературных партиях в Риме в век Августа. Сочинение И. Благовещенского. Соч., т. II, стр. 691—692.*

...В одном пункте... мнения князя Шаликова и г. Шевырева расходились. Издатель «Дамского журнала» был, как известно, ревностным последователем Карамзина, а г. Шевырев блистательным образом защищал понятия Шишкова. Ученый адмирал и ученый профессор одинаково утверждали, что славянские слова чрезвычайно возвышают и украшают русскую речь. Оба они были непреклонны в борьбе против людей, думавших, что по-русски надобно писать на русском, а не на славянском языке, и приводили в пример нашим поэтам выражение:

Соблещет молния мечу.

Но г. Шевырев шел гораздо далее Шишкова, который хотел только, чтобы в слоге подражали Ломоносову, между тем как для г. Шевырева учителем русского современного языка был Кирилл Туровский, живший за 600 лет до Ломоносова и совершенно чистый от галлицизмов. Г. Шевырев советовал нашим поэтам восстановить употребление местоимения *иже, яже, еже* и дательного

самостоятельного падежа, именно писать таким образом: «волнующемуся морю (то есть *при морском волнении, от морского волнения*) корабль, иже входил в гавань, подвергался опасности, а лодка, яже была выслана к нему навстречу, потонувшей (когда лодка, высланная к нему навстречу, потонула), гибель стала неизбежна». Желающие могут видеть примеры и доказательства красоты такого слога в «Истории русской словесности» г. Шевырева и в его ответе на разбор этой книги... Шишков, кажется, не предполагал возможности восстановить дательный самостоятельный.

1855—1856. *Очерки гоголевского периода русской литературы.*
Статья третья.⁴ Соч., т. III, стр. 105.

ЗА ЧИСТОТУ ЯЗЫКА, ЗА ЯСНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ ВЫРАЖЕНИЯ

Нам кажется (может быть, это — пристрастие к своему — родному), что русская поэзия носит в себе зародыши отращения к растягиванию сюжета механически подбирающимися подробностями. В повестях и рассказах Пушкина, Лермонтова, Гоголя общее свойство — краткость и быстрота рассказа <...> В наше время принято смеяться над украшениями, не пристекающими из сущности предмета и ненужными для достижения главной цели; но до сих пор еще удачное выражение, блестящая метафора, тысячи прикрас, придумываемых для того, чтобы сообщить внешний блеск сочинению, имеют чрезвычайно большое влияние на суждение о произведениях поэзии. Что касается украшений, внешнего великолепия, замысловатости и т. д., мы всегда признаем возможности превзойти в вымышленном рассказе действительность. Но стоит только указать это мнимое достоинство повести или драмы, чтобы уронить ее в глазах людей со вкусом и низвести из области «искусства» в область «искусственности».

...До сих пор в произведениях искусства господствует мелочная отделка подробностей, цель которой не приведение подробностей в гармонию с духом целого, а только то, чтобы сделать каждую из них в отдельности интереснее или красивее, почти всегда во вред общему впечатлению произведения, его правдоподобию и естественности; господствует мелочная погоня за эффектною отдельными слов, отдельными фразами и целых эпизодов, расцвечивание не совсем натуральными, но резкими красками лиц и событий.

1853. *Эстетические отношения искусства к действительности.*
Соч., т. II, стр. 68—73.

...Опять, как во времена Марлинского и Полевого, появляются на свет, читаются большинством, одобряются и ободряются многими литературными судьями произведения, состоящие из набора риторических фраз, порожденные «пленной мысли раздраженьем», ненатуральною экзальтацией, отличающиеся прежнею притор-

ностью, только с новым еще качеством — шаликовскою грациозностью, миловидностью, нежностью, мадригальностью <...> и эта риторика, оживши в худшем виде, опять угрожает наводнить литературу, вредно подействовать на вкус большинства публики, заставить большинство писателей опять забыть о содержании, о здоровом взгляде на жизнь, как существенных достоинствах литературного произведения.

1854. Об искренности в критике, Соч., т. II, стр. 255.

...Из наших великих писателей в прозе язык самый простой, самый близкий к обыкновенному разговорному (т. е. живому) языку находим у Гоголя <...> Правда, Гоголя упрекают в том, что «у него язык не всегда хорош», но этот упрек делается людьми, требующими мелочной отделки фраз; мы остаемся при убеждении, что язык Гоголя в наше время образцовый русский язык, что лучше Гоголя никто не писал прозою по-русски.

1854. Естественность всех вообще Ломоносовских слов в русской речи, Соч., т. II, стр. 337.

Из всех недостатков, какие замечаются в современной литературе, самый общий — растянутость и необходимое следствие ее — бледность картин, вялость сцен, пустота и утомительность всего произведения. Кажется, будто бы почти каждый писатель... считает несравненно драгоценностью всякое выражение, какое только мелькнет в его голове, всякую подробность, какая только ему вообразится, и спешит обогатить ею свой рассказ; кажется, будто он сочтет себя преступником, самоубийцею, похитителем, если лишит читателя хотя одного из тех перлов, которые такую однообразную нитью тянутся из-под его пера; кажется, будто бы он и не мог верить, что даже в калифорнских золотых россыпях на одну горсть золотого — приходится целый воз простого песку, и что разрабатывающий их становится богат только через то, что, извлекая немногие зерна золота, с презрением отбрасывает огромное количество никуда негодной примеси. В чем заключается самое поразительное отличие гениальных произведений от дюжинных? Только в том, что «красоты», если употреблять старинное выражение, составляют в гениальном произведении сплошной ряд страниц, а не разведены пустословием бесцветных общих мест... Сжатость — первое условие эстетической цены произведения, выставляющая на вид все другие достоинства... Господствующая ныне эстетическая болезнь — водяная, делает столько вреда, что, кажется, отраднее было бы даже увидеть признаки сухотки, как приятен морозный день, сковывающий почву среди октябрьского ненастья, когда повсюду видишь бездонно-жидкие трясины.

Особенно нам, русским, должна быть близка и драгоценна сжатость. Не знаем, свойство ли это русского ума, как готовы думать многие... но все прозаические, даже повествовательные,

произведения наших гениальных писателей (не говорим о драмах и комедиях, где самая форма определяет объем) отличаются сжатостью своего внешнего объема <...> Прочитайте три, четыре страницы «Героя нашего времени», «Капитанской дочки», «Дубровского» — сколько написано на этих страничках! — И место действия, и действующие лица, и несколько начальных сцен, и даже завязка — все поместилось в этой тесной рамке. Такой сухости не встретите в художественно развитых созданиях писателей и писательниц, прекрасный слог которых все так хвалят. Переверните три листа (читать их не стоит) — вы увидите, что все еще тянется с первой страницы описание комнаты, в которой сидел герой или героиня рассказа; перевертывайте еще лист — а, наконец-то! описание комнаты кончилось (благодарите судьбу, что герой сидит в комнате: если б ехал или шел по полю, картина была бы во столько же раз длиннее описания комнаты, во сколько раз поле с рекою и рощею обширнее комнаты) — итак, описание комнаты кончилось и началось описание физических принадлежностей героя или героини; смело перевертывайте два листа; только на третьем автор переходит к размышлениям и объяснениям нравственных качеств своего пациента. Через пять листов они (насилу-то!) прерываются появлением в комнате нового лица, которое, выдержав прилично подробное описание, начинает разговор, который (после всех прежних объяснений автора) знакомит нас с характером героя; содержание разговора: герой говорит: «Я скучаю» (или «Я влюблен»), и если читатель не знает по-русски, то из разговора, занимающего пять страниц, познакомится с значением слова «скучаю» (или «влюблен»). Конечно, все это было бы прекрасно, если бы не было решительно излишне, скучно, вяло и пусто. Впрочем, осуждать не смеем: все перевернутые нами листы написаны прекрасным слогом. А быть может, из этих холодных, бесцветных, ничтожных двадцати или тридцати страниц и составила бы одна исполненная блестящей или тонкой наблюдательности страница, если б автор более дорожил терпением читателей или хотя бумагою, нежели рубинами и изумрудами своего прекрасного слога <...> Иногда приходит охота представить осязательное доказательство того, какой вред приносит растянутость, какой интерес, силу и даже красоту придает сжатость, сделав из какой-нибудь растянутой повести, прошедшей незамеченною, «извлечение», «экстракт», который бы выказал ее достоинства, погибшие в пучинах многословия.

1855. Сочинения Пушкина... изд. П. В. Анненкова, СПб., 1855.
Соч., т. II, стр. 465—467.

...Нужно было освободиться от эпических поэм с воззваниями к Музе, трагедий с тремя единствами, торжественных од, избавиться от холодности, чопорности, условной и отчасти пошлой гладкости в слого, однообразном и вялом <...> У псевдоклассиков лица разделялись на героев и злодеев <...> Страсти изображались

у классиков с жеманной, холодной сдержанностью, — романтические герои начали неистовствовать и руками, и особенно языком, беспощадно кричать всякую гиль и чепуху; классики хлопотали о шеголеватости, — противники их провозгласили, что всякая благовидность есть пошлость, а дикость, безобразия — истинная художественность, и т. д.; одним словом, романтики имели целью не природу и человека, а противоречие классикам; план произведения, характеры, положения действующих лиц и самый язык создавались у них не по свободному вдохновению, а сочинялись, придумывались... У них все выходило так же искусственно и натянуто, как и у классиков, только искусственность и натянутость эта была другого рода: у классиков — приглаженная и прилизанная, у романтиков — преднамеренно растрепанная. Здравый смысл был идолом классиков, не знавших о существовании фантазии; романтики сделали врагами здравого смысла и искусственно раздражали фантазию до болезненного напряжения. После этого очевидно, насколько у них могло быть простоты, естественности, понимания действительной жизни и художественности, — ровно никаких следов <...>

Вопросы о близком соотношении поэтических созданий к жизни общества не приходили и в голову романтическим сочинителям, — они хлопотали только о том, чтобы изображать бурные страсти и раздражительные положения неистово фразистым языком.

*1855. Очерки гоголевского периода русской литературы.
Статья первая. Соч., т. III, стр. 26—27.*

О РЕЧИ ПЕРСОНАЖЕЙ И ЯЗЫКЕ РАССКАЗЧИКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

Прочитал половину «Бэлы». Показалось, что там есть в речах, которые приписываются Азамату и Казбичу, реторика, которой решительно не должно и которая не идет к Максиму Максимовичу, который их пересказывает <...> Это пышное высказывание чувств мне кажется приторным и неверностью; описания Бэлы (кажется) и лошади Казбича не совершенно чисты от этого. Но все же мне понравилось более, чем раньше. Другое дело «Мери»! Это удивительно!

Дневник, 5 29 июля 1848 г. Соч., т. I, стр. 59.

О взаимной любви Добролюбова и Софьи не буду я говорить, точно так же как не буду говорить и о них самих — эти лица давно уже оценены по достоинству и, в самом деле, по всем правам следует им любить друг друга — они так достойны один другого. Можно только заметить, что они даже и языком говорят таким же нелепым и нескладно-жеманным, как сами, между тем как все другие лица Фонвизина говорят почти везде превосходным

языком, который в большей части мест не потерял еще и теперь своего эстетического достоинства, а историческую свою ценность сохранил навсегда.

1850. О «Бригадире» Фонвизина (первая редакция).⁶
Соч., т. II, стр. 796.

В наше время подсмеиваются над Расином и мадам Дезульер; но едва ли современное искусство далеко ушло от них в отношении простоты и естественности пружин действия и безыскусственной натуральности речей; разделение действующих лиц на героев и злодеев до сих пор может быть прилагательно к произведениям искусства в патетическом роде; как связно, плавно, красноречиво объясняются эти лица! Монологи и разговоры в современных романах немногим ниже монологов классической трагедии. Вместо живого разговора ведутся искусственные беседы, в которых разговаривающие волею и неволею выказывают свой характер. Следствием всего этого бывает монотонность произведений поэзии: люди все на один лад.

1853. Эстетические отношения искусства к действительности.
Соч., т. II, стр. 84—85.

Когда явились первые части «Тамарина» (Варинька и Записки Тамарина), которыми дебютировал г. Авдеев, все в один голос сказали, что это буквальное подражание «Герою нашего времени» <...>

В «Герое нашего времени» две главные повести: «Бэла», рассказываемая простодушным Максимом Максимычем, и «Княжна Мери», дневник Печорина. И у г. Авдеева две повести: «Варинька», рассказываемая Иваном Васильевичем, и «Я, тетрадь из записок Тамарина» <...> Но если Максим Максимыч рассказывает своим языком и действительно своими глазами смотрит на вещи, то Иван Васильич, говоря фразами Максима Максимыча, беспрестанно проговаривается и отдает свой язык в распоряжение Печорина, Тамарина или самого г. Авдеева. Примеров первого не нужно приводить: они составляют фон рассказа; вот примеры второго, эпизодически прорывающегося тона:

Описание на целой странице Джальмы, коня Тамарина; Джальма, чуть проедет несколько шагов, из серого в яблоках «делался розовый: так тонка была у него кожа!» Кому, кроме Печорина, имеющего страсть говорить о лошадях тем тоном, каким говорят о женщинах, придет в голову эта «тонкость»? И действительно, вслед за этим Иван Васильевич принужден делать такое же описание Вариньки, у которой был «тонко схваченный стан» и темноглазые глаза, спокойно смотревшие на божий мир, как будто в нем не было ни горя, «ни длинного ряда заблуждений и обманов, в конце которого часто стоит разочарование и могила». Помилуйте...

Одним словом, если Максим Максимыч умеет рассказывать, как Максим Максимыч, то Иван Васильич умеет рассказывать, как Иван Васильич и г. Авдеев вместе.

1853—1854. Роман и повести М. Авдеева. СПб., 1853. Соч., т. II, стр. 211—213.

...Г Писемский пишет прекрасные рассказы из простонародного русского быта — это потому, что он хорошо знает простонародный русский быт <...>

...В таланте <...> г. Писемского отсутствие лиризма составляет самую резкую черту. Он редко говорит о чем-нибудь с жаром, над порывами чувства у него постоянно преобладает спокойный, так называемый эпический тон <..> Нам кажется, что у г. Писемского отсутствие лиризма скорее составляет достоинство, нежели недостаток; нам кажется, что хладнокровный рассказ его действует на читателя очень живо и сильно, и потому полагаем, что это спокойствие есть сдержанность силы, а не слабость. Правда, некоторые из наших критиков, обманываясь этим спокойствием, говорили, что г. Писемский равнодушен к своим лицам, не делает между ними никакой разницы, что в его произведениях нет любви и т. д., — но это совершенная ошибка. Любить умеет не только тот, кто любит кричать о своей любви: у иного чувство выражается и словом и делом, у иного только делом, и, может быть, тем сильнее, чем молчаливее. Довольно припомнить хотя бы «Очерки из крестьянского быта», чтобы убедиться в том, что у г. Писемского спокойствие не есть равнодушие <...> Но чувство у него выражается не лирическими отступлениями, а смыслом целого произведения. Он излагает дело с видимым бесстрастием докладчика, — но равнодушный тон докладчика вовсе не доказывает, чтобы он не желал решения в пользу той или другой стороны, напротив, весь доклад так составлен, что решение должно склониться в пользу той стороны, которая кажется правую докладчику.

1857. Очерки крестьянского быта А. Ф. Писемского. СПб., 1856. Соч., т. IV, стр. 561—571.

...Какая правда в самом рассказе! Как соблюден характер старины и в языке и в понятиях! «Старая барыня» принадлежит к лучшим произведениям талантливого автора, а по художественной отделке эта повесть бесспорно, выше всего, что доселе издано г. Писемским.

1857. Заметки о журналах. Февр. 1857 г. Соч., т. IV, стр. 721—722.

Комедия Островского «Праздничный сон до обеда» — достоинством равная его пьесе в «Русском Вестнике» (заглавие которой я забыл, — но Вы ее помните) ⁷ — то есть талант виден в ведении разговора, языке и т. п. ...

Из письма Н. А. Некрасову 13 февраля 1857 г. Соч., т. XIV, стр. 339—340.

У Островского в какой-то из последних пьес⁸ — в той, где дело начинается разъяснением отношений между молодой вдовой и обирающим ее мерзавцем, — сделана попытка изобразить молодую купчиху и пожилого, очень богатого купца людьми, говорящими по-человечески, а не тем утрированным для смеха публики языком, каким говорят в прежних его пьесах честные люди купеческого сословия; этот выдуманный для смеха язык делал их уродами. Попытка бросить эту манеру уродования честных людей заслуживает одобрения в той пьесе Островского, но она исполнена слабо; у Островского была слишком сильная привычка утрировать сословные особенности купеческого языка, который на самом деле, вероятно, и в Москве не хуже саратовского или астраханского купеческого, — конечно, своеобразного, но не более дурного, чем язык дворян, чиновников и проч.

*Из письма И. И. Барышеву 8 августа 1888 г. Соч., т. XV,
стр. 727—728.*

О НЕОБХОДИМОСТИ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ СТИХОСЛОЖЕНИЯ ОСОБЕННОСТЯМ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА

Наконец, мы позволяем себе высказать некоторые сомнения относительно удобства для русского языка той версификации, которая господствует со времени Ломоносова. Конечно, мы теперь чрезвычайно привыкли к ней, благодаря отчасти самому Пушкину; тем не менее надобно сказать, что она не так натурально приходится к свойствам нашего языка <...>

Пересмотрев любой стихотворный сборник, мы будем поражены преобладанием ямба над всеми остальными размерами в русской поэзии <...>

На чем же основано такое господство ямба и отчасти хорей, изгоняющее все другие размеры? Неужели, действительно, ямб — самый естественный для русского языка размер? Так обыкновенно думают; но не так на самом деле <...> Наши слова вообще многосложнее: мы не ставим более одного ударения на сложных словах... Уж поэтому можно предположить, что у нас речь не будет так натурально укладываться в ямбы и хорей <...>

Пушкин возвратился к исключительному господству ямба. А между тем кажется, что трехсложные стопы (дактиль, амфибрахий, анапест) и гораздо благозвучнее и допускают большее разнообразие размеров, и, наконец, гораздо естественнее в русском языке, нежели ямб и хорей <...>

Не можем не заметить, что у одного из современных русских поэтов⁹ — конечно, вовсе не преднамеренно — трехсложные стопы очевидно пользуются предпочтительной любовью перед ямбом и хореем.

*1855. Сочинения Пушкина... Статья вторая. Соч., т. II,
стр. 469—472.*

Обычай нашего стихосложения также очень стеснительны для русских рифм... Нам кажется, что и рифма в русском языке должна существовать с некоторыми особенными условиями, вытекающими из сущности языка. Один шаг к этому сделан уже поэтом, о котором говорили мы выше,⁹ и который также любит дактилическую рифму — это по крайней мере разнообразит рифмы. Но младость — радость; ночи — очи и т. д., кажется, нуждаются в большей свободе, чтобы разорвать свой несносный союз. Русская рифма, нам кажется, могла бы довольствоваться не одинакостью, а подобностью звуков, как это бывает иногда у Кольцова. Конечно, это созвучие должно быть сильно, резко, чтобы быть заметным. Но в том, что рифма должна остаться необходимою принадлежностью русского стиха, невозможно сомневаться; вся история русского народного стихосложения показывает его стремление приучить себя к рифме.

Там же, стр. 472.

...Пушкин первый дал нам прекрасные стихи, писанные на родном языке...

1855. Сочинения Пушкина... Статья третья. Соч., т. II, стр. 507.

И прежде <...> существовали на русском языке хорошие стихи; но когда явились произведения Пушкина, все увидели, что еще не имели понятия о том, как прекрасны могут быть русские стихи. В самом деле, до Пушкина еще никто не писал таким легким и живым языком, в котором соединялись и простота, и поэтическая прелесть; еще никто не умел придавать русскому стиху столько точности, выразительности и красоты. Все эти качества, в которых состоит так называемое «художественное совершенство» пушкинского стиха, очаровали публику и привлекли к чтению тысячи людей, которые прежде не имели привычки читать.

1856. Александр Сергеевич Пушкин, его жизнь и сочинения. Соч., т. III, стр. 314—315.

О РАБОТЕ ПИСАТЕЛЯ НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

...Как же велики должны быть изменения, вносимые в произведения окончательною отделкою? Вообще эстетические соображения уверяют нас, что в написанном можно исправлять, не вредя произведению, только степень развития подробностей и образ выражения. Перо не успевает следить за мыслью; потому всегда могут встречаться в написанном некоторые неполноты, недостаток довольно закругленных переходов; как бы ни велико было уменье писателя владеть языком, всегда будет встречаться случаи, что некоторым выражениям может быть придано более точности или силы. Наконец — и это важнее всего — нет человека, который не увлекался бы пристрастием останавливаться с любовью на

собственных мыслях — потому длиннота, растянутость незаметно для автора вкрадывается в его произведение; истребить ее, беспощадно вычеркнуть все лишнее — вот в чем должна состоять существеннейшая часть работы при пересмотре написанного; если автор строго исполнит эту обязанность, его произведение чрезвычайно много выиграет и, став вдвое меньше объемом, будет иметь в двадцать раз более достоинства для читателя. Но как мы уже говорили, вносить в план существенные изменения при окончательной переделке — чрезвычайно опасно: в художественном произведении все части должны быть между собою в строгой зависимости, и почти невозможно не нарушить его стройности, изменяя одну из них <...>

От этих общих соображений, внушаемых самими простыми условиями художественности, обращаясь к авторской манере Пушкина, мы находим у него перечеркивание и исправление в чрезвычайно обширном размере, как бы не только отделка стиха, но и самое облечение мысли в стихотворную форму стоило ему чрезвычайных усилий, как бы эти стихи, поражающие прежде всего своею легкостью, писал он с большим трудом, как бы механизм стиха представлял Пушкину затруднения <...> Прежде, нежели попробуем объяснить обширность размера, какой принимает у Пушкина отделка стиха, укажем обыкновеннейший результат ее — уменьшение объема стихотворения, строгое уничтожение множества, быть может, половины задуманных стихов. Не будем приводить бесчисленного количества стихов и строф, вычеркнутых Пушкиным из «Евгения Онегина». Два-три примера из других произведений будут достаточны для убеждения в том, до какой степени Пушкин боялся растянутости. Размышление Пимена над своею летописью заключалось в рукописи так:

Передо мной опять выходят люди,
Уже давно покинувшие мир.
Властители, которым был покорен,
И недруги, и старые друзья —
Товарищи моей цветущей жизни...
Как ласки их мне радостны бывали,
Как живо жгли мне сердце их обиды!
Но где же их знакомый лик и страсти?
Чуть-чуть их след ложится легкой тенью, —
И мне давно, давно пора за ними!..

Из этих десяти стихов Пушкину показался не излишним по своей мысли только предпоследний, и весь длинный эпизод, действительно растягивавший монолог бесполезным повторением того, что высказывается в других стихах его, заменен двустихием:

Немного лиц мне память сохранила,
Немного слов доходит до меня.

В «Полтаве» он зачеркивает стихи, описывающие страдания влюбленного казака, отвергнутого Марией <...> В «Русалке»

уничтожен отрывок из нескольких десятков стихов в сцене свадьбы после упрека дружки девицам за их печальную песню; этот эпизод заключал продолжение упреков и смятения, произведенного появлением утопленницы. Точно так же в начале «Медного всадника» уничтожены длинные размышления Евгения (по возвращении домой в вечер перед наводнением) о том, что он женится на Параше и будет с нею счастлив. Конечно, всякий согласится, что эти стихи без нужды растягивали сцену.

...Г. Анненков справедливо обращает внимание писателей на эту строгость Пушкина к собственным произведениям.

Действительно, большая часть современных повестей, романов заставляет сознаться, что слишком многие беллетристы нуждаются в подобном уроке.

1856. Сочинения Пушкина... изд. П. В. Анненкова. СПб., 1856. Соч., т. II, стр. 462—465.

О ЯЗЫКЕ И СЛОГЕ НЕКОТОРЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Барон Брамбеус смешал понятие «язык», который бывает в данную эпоху почти одинаков у всех грамотных писателей, и «слог», то есть особенную манеру каждого писателя <...> Не зная различия между языком и слогом, он, по-нашему мнению, совершенно добродушно пришел к заключению, что он первый у нас начал писать превосходным прозаическим языком, о чем для человека, хотя немного понимающего дело и читавшего хотя несколько страниц пушкинской прозы, не могло быть и речи...

1855. Очерки гоголевского периода русской литературы. Статья вторая. Соч., т. III, стр. 56.

...У каждого хорошего писателя бывает свой собственный слог.

1856. Очерки гоголевского периода русской литературы. Статья третья. Соч., т. III, стр. 101.

Слог г. Погодина богат странностями, которые подавали даже повод к забавным пародиям. Но невозможно не признаться, что точность, меткость, оригинальность, непринужденность, сжатость, энергия, совершенная естественность составляют неотъемлемые его качества.

Там же, стр. 77.

Кстати, о слогe самого г. Шевырева. Ученый критик писал, без сомнения, очень цветисто и патетично; но, к сожалению, слог его вообще растянут и напыщен, а язык неточен и неправилен. Никто из русских журналистов со времени Свинына, прославившегося дивным слогом своего романа «Якуб Скупалов», не владел языком так дурно, как г. Шевырев. Мы, конечно, не упомянули бы об этом деле, если бы сам г. Шевырев не толковал так много о языке и слогe. Ошибки против языка или логики режут глаза

почти в каждой его фразе, потому и не нужно приводить примеров: желающий найдет их десятки в каждой нашей выписке из статей г. Шевырева. На всякий случай, разберем хотя первую фразу в первом из помещенных у нас суждений его о Гоголе. Оно принадлежит еще 1835 году; впоследствии г. Шевырев писал гораздо хуже, и мы нарочно указываем лучшую по слогу из его статей. «Автор «Вечеров Диканьки» (то есть Вечеров на Диканьке, или на хуторе близ Диканьки) имеет от природы чудный дар схватывать бессмыслицу в жизни человеческой и обращать ее (жизнь или бессмыслицу?) в неизъясняемую (то есть неизъяснимую) поэзию смеха».

На двух строках две ошибки против языка и одна неточность. Так писал г. Шевырев в «Московском Наблюдателе». В «Москвитяине» он писал еще неправильнее. О напыщенности и натянутости слога мы уж и не говорим.

1856. Очерки гоголевского периода русской литературы. Статья третья. Соч., т. III, стр. 105—106.

...Сколько можно судить по началу, в этой драме мы имели бы нечто подобное прекрасным «Сценам из рыцарских времен» Пушкина. Простота языка и мастерство в безыскусственном ведении сцен, умение живо выставлять характеры и черты быта не изменили Гоголю и в этом случае.

1856. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. СПб., 1856. Соч., т. III, стр. 527.

...Язык, действительно, исхищен и кудреват до неимоверности, а метафоры неправдоподобно смелы и бесчисленны. Только на этом и мог основываться успех<...>

...Мы нашли три или четыре стихотворения, в которых г. Бенедиктов, оставляя обыкновенные свои темы, обращается мыслью к событиям совершающимся вокруг нас, — из мира «извинченных кудрей», «фосфорных очей» и адских страстей, выражаемых натянутыми метафорическими гиперболами, переходит в мир чувств, знакомых обыкновенным людям<...>

Несмотря на все наше желание смотреть на произведения г. Бенедиктова самыми благорасположенными глазами, мы никак не можем видеть в них хотя бы слабых следов поэзии. Чувства в них нет; они носят на себе слишком очевидные признаки, что все в них — придуманное, сочиненное; от самых сладострастных картин веет холодом; на самых гиперболических выражениях лежит тяжелый отпечаток недостатка фантазии. Поэтическая фантазия состоит не в том, чтобы придумывать небывалые метафоры и гиперболы, — иначе, в известной книге «Не любо не слушай» было бы гораздо больше поэзии, нежели в Шекспире и Гомере<...> Поэтическая фантазия состоит в том, чтобы предмет немногими чертами изображался живо и точно; а этого качества решительно нет в стихотворениях г. Бенедиктова. Хотя бы даже

оставить без внимания все натянутые и неловкие выражения, все-таки стихотворения г. Бенедиктова остаются холодны, картины его сбивчивы и безжизненны. Потому надобно, к сожалению, решительно сказать, что поэтического таланта у г. Бенедиктова мало.

1856. *Собрание стихотворений В. Бенедиктова.*¹⁰ СПб., 1856. Соч., т. III, стр. 597—610.

Вы говорите:

«Нет в тебе поэзии свободной,
Мой тяжелый, неуклюжий стих».

Вам известно, что я с этим не согласен <...> *тяжелый* и *неуклюжий* стих. Тяжестью часто кажется энергия, поэтому говорят, что стих Лермонтова тяжелее стиха Пушкина, что решительно несправедливо <...> Также скажу я и о Вас. В чем состоит неуклюжесть Вашего стиха, я решительно не понимаю <...> Вы одарены талантом первоклассным, вроде Пушкина, Лермонтова и Кольцова.

Из письма Н. А. Некрасову 24 сентября 1856 г. Соч., т. XIV, стр. 314—315.

О ЯЗЫКЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

...Мы не всегда умеем ценить по достоинству <...> ум детей <...> мы или мучим его затверживанием сухих правил и мертвых слов, смысла которых не объясняем детям, «потому что они еще дети, не поймут они этого», или, когда хотим доставить им приятное чтение, болтаем с ними о таких вещах и таким языком, что умное дитя тотчас же заметит в наших словах приторное ребячество и будет подсмеиваться над этим неловким и скучным ребячеством <...>

...Мы вообще недовольны книгами для детского чтения: они слишком — извините за выражение — оскорбляют детей недоверчивостью к их уму, отсутствием мысли, приторными сентенциями. К чему эта преднамеренная пустота, преднамеренное идиотство? Детям очень многое можно объяснить очень легко, лишь бы только объясняющий сам понимал ясно предмет, о котором взялся говорить с детьми, и умел говорить человеческим языком.

1856. *Александр Сергеевич Пушкин, его жизнь и сочинения.* СПб., 1856. Соч., т. III, стр. 625.

О ЯЗЫКЕ КРИТИЧЕСКИХ РАБОТ

...Критика вообще должна, сколько возможно, избегать всяких недомолвок, оговорок, тонких и томных намеков <...> только мешающих прямоте и ясности дела. Русская критика не должна быть похожа на шепетильную, тонкую, уклончивую и пустую критику французских фельетонов; эта уклончивость и мелочность не во вкусе русской публики, нейдет к живым и ясным убеждениям,

которых требует совершенно справедливо от критики наша публика. Следствия уклончивых и позолоченных фраз всегда были и будут у нас одинаковы: сначала эти фразы вводят в заблуждение читателей, иногда относительно достоинства произведений, всегда относительно мнений журнала о литературных произведениях; потом публика теряет доверие к мнениям журнала; и потому все наши журналы, желавшие, чтобы их критика имела влияние и пользовалась доверием, отличались прямою, неуклончивостью, неуступчивостью (в хорошем смысле) своей критики, называвшей все вещи — сколько то было возможно — прямыми их именами, как бы жестки ни были имена.

1854. Об искренности в критике. Соч., т. II, стр. 254—255.

Неужели надобно серьезно говорить о таком писателе, как Жюль Жанен? Ужели надобно доказывать, что слог его растянут, вычурен, приторен, что ни естественности, ни жизни, ничего, чем отличается слог хороших писателей, в нем нет? Один фельетон пишет он, заключая каждую фразу восклицательным знаком, — заметьте, буквально каждую фразу, не пропуская ни одной; другой — после каждых двух-трех слов ставя несколько точек; третий — начиная каждую фразу словами *oh! que j'aime*; четвертый — словами *hélas!*¹¹ и т. д., и т. д.; но повсюду остается он верен двум правилам: говорить как можно меньше о деле и как можно больше о пустяках, и растягивать фразы до бесконечности набором десяти, пятнадцати синонимов, бесконечного ряда прилагательных или глаголов, таким образом: «юный, свежий, розовый, цветущий, весенний, ароматный румянец ее щек прельщал нас так недавно, — и — *hélas!*¹¹ она увяла, поблекла, побледнела, уснула, покинула нас... не хочу сказать: умерла — умереть значит пережить себя, быть забытым и т. д., и т. д. А такое чудное дивное, упоительное и т. д. существо может ли быть когда-нибудь забыто? *Oh, pop,*¹¹ ты всегда будешь лучшим, прекраснейшим и т. д. воспоминанием», и т. д. и т. д. на пятнадцать столбцов, — и заметьте, что это говорится о смерти какой-нибудь сорокалетней, неуклюжей танцовщицы, и заметьте, что она вовсе не думала умирать, а красноречивый плач написан для того, чтобы завтра публика, увидев ее имя на афише, толпою бросилась в театр рукоплескать воскресшему «юному, дивному, прелестному, очаровательному и т. д. существу». Или переменным тему; надобно сказать: «Я изумлен и обрадован». Жюль-жаненовским слогом говорится это так: «я пыхчу, я задыхаюсь, я волнуюсь, я потею, я холодею, я трепещу от восторга, от удивления, от изумления и т. д., и т. д.». Писать самому таким слогом и рекомендовать его другим не составляет особенной заслуги. Повести барона Брамбеуса, его критические статьи и рецензии постоянно писаны в манере Жюля Жанена.

1855. Очерки гоголевского периода русской литературы. Статья вторая. Соч., т. III, стр. 56—57.

Требования Белинского были очень умеренны, но тверды и последовательны, высказывались с одушевлением, энергично. Нет надобности говорить, что самые резкие суждения могут быть прикрываемы цветистыми фразами. Белинский, человек прямого и решительного характера, пренебрегал этою хитростью. Он писал так, как думал, заботясь только о правде и употребляя именно те слова, которые точнее выражали его мысль. Дурное он прямо называл дурным, не прикрывая своего суждения дипломатическими оговорками и двусмысленными намеками. Потому людям, которым всякое правдивое слово кажется жестким, как бы ни было оно умеренно, мнения Белинского казались резкими: что делать, прямоту считают всегда резкостью.

1856. Очерки гоголевского периода русской литературы. Статья седьмая. Соч., т. III, стр. 233—234.

О ЯЗЫКЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Специалисты имеют привычку рассуждать таким техническим языком, который наводит робость на профана, думающего, что под мудрыми словами (впрочем, полезными в науке) скрываются бог знает какие неведомые и, пожалуй, непостижимые его простому житейскому смыслу вещи; в иных делах оно так и бывает, — например, в химии, в геологии, в микроскопической анатомии; но зато ведь эти науки занимаются исследованиями, чуждыми обыкновенного круга будничной жизни неспециалистов.

А экономическая наука не такова: в ней нет ни одного вопроса, который не подходил бы к тому или другому разряду житейских забот каждого из нас; в ней нет факта, который не соответствовал бы делам, хорошо знакомым каждому из нас. Потому читатель пусть не предполагает, что не способен каждый профан понять финансовые или бюджетные вопросы так ясно, как только способен понимать счет, поданный ему кухаркою. По напрасной привычке, отвязаться от которой трудно, мы, пожалуй, будем употреблять здесь технические слова «финансовое положение», «бюджет» и т. д., но проще было бы говорить кухонным языком, который был бы совершенно достаточен для изложения всей сущности кредитных дел.

1860. Кредитные дела.¹² Статья четвертая. Соч., т. VII, стр. 534—555.

О ЯЗЫКЕ ПЕРЕВОДОВ

...Г. Ордынский перевел Аристотеля языком очень тяжелым и темным. Мы не говорим, чтоб аристотелеву «Пиитику» прочла вся русская публика, как бы ни был изящен и легок язык перевода, но все-таки она в изящном переводе нашла бы довольно много читателей; а перевод г. Ордынского едва ли привлечет многих:

он испытает участь очень дельных переводов Мартынова, которые остались никем не читаны — именно по темноте и тяжеловатости языка. Зачем же г. Ордынский дал нам такой неудобочитаемый перевод, когда в том же самом рассуждении слогом своего комментария показывает он, что умеет писать языком очень понятным и довольно легким? Он говорит в предисловии, что старался перевести как можно ближе к подлиннику — прекрасно! Но, во-первых, всему есть пределы, и заботиться о буквальности перевода с ущербом ясности и правильности языка, значит вредить самой точности перевода, потому что ясное в подлиннике должно быть ясно и в переводе; иначе к чему же и перевод? Во-вторых, перевод г. Ордынского, правда, очень близкий, вовсе, однакож, не может назваться подстрочным; в нем очень часто два слова подлинника переводятся одним, одно — двумя словами, даже и там, где можно было бы перевести слово в слово. Не отступая от подлинника далее, нежели отступает г. Ордынский, можно было дать перевод ясный и удобочитаемый. Не слишком стеснительная близость к подлиннику, а оригинальные понятия г. Ордынского о русском слоге <являются> причину недостатков его перевода. Он стремится к какой-то изысканной простонародности языка, умышленно не соблюдает правил языка литературного, старается не употреблять слов его, любит слова устарелые или малоупотребительные. К чему это? Пишите, как всеми принято писать; и если у вас есть живая сила простоты и народности в слоге, то она сама собою, без всякой преднамеренной погони, придаст вашему слогу простоту и народность. Всякое преднамеренное стремление к оригинальности имеет следствием вычурность...

*1854. О поэзии. Сочинение Аристотеля. Москва, 1854.
Соч., т. II, стр. 238.*

Нет сомнения, что отрывки «Илиады», являющиеся теперь, возбудят до некоторой степени внимание публики к вопросу о переводе Гомера на русский язык и в особенности о переводах Жуковского. В самых «Прописях» явилась уже написанная по этому поводу статья г. Каткова: «Несколько слов о попытках переводить Гомера простонародным языком». Потому считаем обязанностью несколько остановиться на этих вопросах. Г. Катков совершенно справедливо доказывает, что переводить «Илиаду» простонародным языком, как пытались некоторые, такая же вопиющая несообразность, как, например, переводя комедии Аристофана, заменять особенное наречие спартанских послов мало-русским или костромским. Это значило бы сообщить переводу колорит, не свойственный подлиннику, делать фальшивый перевод. Совершенно справедливо. Но именно по этому самому невозможно согласиться с мнением г. Каткова, что Гомер может быть переводим устарелым языком <...>

Нам кажется, что и славянский или летописный, устарелый элемент в переводе Гомера будет точно также сообщать ему чуж-

дый, фальшивый колорит, как сообщает, по справедливому мнению г. Каткова, простонародное наречие.

<...> Если греческая хламида не зипун, то и не боярская фезья <...> По возможности простой и свежий литературный язык — единственный, пригодный для Гомера в русском переводе. «Одиссея» в переводе Жуковского не имела успеха, какого надеялись большая часть из нас, потому что язык ее очень искусственный. Сверх того находим принужденность слога, которая усиливается слишком буквальным подражанием подлиннику в расстановке слов, очень часто неестественной для русского языка. Все это осталось в таком же виде и в переводе «Илиады» <...> Слог этот, может быть, очень художественен, но вместе с тем по-русски он выходит очень искусствен и тяжел в чтении. Но вопрос о языке сам собою решится, если решится вопрос о том, удачно ли выбран для перевода гекзаметр. От качеств, которые неразрывно сроднились в русском языке с этим размером, всего более зависит и натянутость слога, которою отличается все писанное по-русски гекзаметром <...> Он ненатурален в нашем языке. Но если не гекзаметром, то каким же размером переводить Гомера? Каким вам угодно из тех, музыкальность которых понимает русское ухо: ямбом, хореем, дактилем, амфибрахием, анапестом, если угодно, правильным смешением ямба с анапестом или хореем с амфибрахием — только таким размером, который легче всего для переводчика и с тем вместе не дик и не вял для русского уха. Легкость — необходимое условие для удачного перевода Гомера <...> Буквальность не есть близость, а только несообразность. Так, например, «Хвастливый воин», комедия Плавта, переведена г. Шестаковым слишком буквально, так что через это теряет колорит подлинника: у Плавта, из всех латинских поэтов, самый непринужденный язык. Верность перевода вовсе не требует того, чтобы в русском слогом сохранить особенные обороты, свойственные только латинскому языку <...> Надобно также прибавить, что, переводя стихотворное произведение прозою, вообще мы не можем держаться буквально всех оборотов подлинника: они часто обуславливаются самою формою стиха, так что, лишившись ее при переходе на другой язык, фраза часто должна бывает или распутаться, или сократиться, или быть пополнена, чтобы не казаться странною и не мешать ровному ходу речи.

1855. Пропилеи. Сборник статей по классической древности...¹³
Соч., т. II, стр. 552—556.

ОБ ИЗУЧЕНИИ РОДНОГО И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКОВ

Природу сравнивают с книгою, заключающею в себе всю истину, но написанною языком, которому нужно учиться, чтобы понять книгу. Пользуясь этим уподоблением, мы скажем, что очень легко можно выучиться каждому языку настолько, чтобы

понимать общий смысл написанных им книг; но очень много и долго нужно учиться ему, чтобы уметь отстранить все сомнения в основательности смысла, какой мы находим в словах книги, уметь объяснить каждое отдельное выражение в ней и написать хорошую грамматику этого языка.

*1860. Антропологический принцип в философии.
Соч., т. VII, стр. 249.*

Радуюсь успехам Саши и в английском языке. Советую ему и Мише стараться о достижении того, чтобы совершенно легко читать книги по крайней мере на трех важнейших языках ученой деятельности: английском, французском и немецком.

*Письмо О. С. Чернышевской¹⁴ 25 марта 1874 г.
Соч., т. XIV, стр. 559.*

Если наши дети хотят быть людьми в самом деле образованными, они должны приобретать образование самостоятельными занятиями. И необходимейшею подготовкою для возможности приобретать его должны быть усердные занятия французским, немецким и английским языками.

*Письмо О. С. Чернышевской 30 августа 1877 г.
Соч., т. XV, стр. 91.*

Хвалю, что ты стал заниматься немецким языком. Надобно достичь того, чтобы читать по-немецки, по-французски, по-английски так же легко, как на родном языке. Без того нег достаточно широкого фундамента для умственной деятельности. В каждой из трех литератур есть односторонности, которые пополняются только равною интимностью с двумя другими литературами.

*Письмо А. Н. Чернышевскому 7 марта 1881 г.
Соч., т. XV, стр. 323.*

О НАУЧНОМ И УЧЕБНОМ КУРСЕ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ

...Без грамматики никому нельзя обойтись. Трудно ли выучиться ей так, чтоб уметь разбирать части речи, падежи, времена, подлежащее и сказуемое, слова дополнительные и определительные? О, если только в этом, не тупоумного мальчика можно выучить грамматике в две недели.

— А в чем же дело? Что же еще нужно знать?

— Как что? Разве вы забыли, что формы русских падежей объясняются только историческою грамматикою, состав предло-

жения, смысл падежей, глагольных форм, частей речи только философскою грамматикою. Итак, нужно знать их.

— Прекрасно; но кому знать? каждому, кто обязан быть не невеждою, или только специалисту?

Вопрос <...> решить очень легко. Нам нужно знать, что в дательном имен, имеющих в именительном *a*, пишется буква *ь*. Можно сказать просто, как говаривалось в старых грамматиках: «дательный ставится на вопрос: *кому?* дать брагу, сестрь; *сестрь* дательный падеж». Это каждый поймет в одну минуту. Чтобы таким способом правильно разбирать падежи, нужно только запомнить их имена, и дело будет кончено. Но неужели можно ограничиться такими скудными и, в строгом ученом смысле, неосновательными сведениями? Нет, нужно основательное знание. Оно дается только сравнительно-историческою филологиею при помощи философской грамматики <...>

Но однако же, возможно ли распространение филологического образования на массу общества? Быть может, филологическое образование может войти в состав общего образования, как некогда входил латинский язык, как ныне входят новейшие языки?

Решить это очень легко. Человек, предназначенный получить филологическое образование, должен предварительно ознакомиться: 1) с славянскими наречиями, именно: старославянским, сербским, хорутанским, чешским, лужицким, польским; 2) с языками: немецким (в его древней форме, так называемом готском языке), латинским, греческим.

Менее этого нельзя знать, а, собственно говоря, должно знать еще несколько других языков и наречий.

Кроме того, он должен основательно изучить древности (мифологии, общественного быта, нравов) немецкие, кельтские, римские, греческие, не говоря уже о славянских.

Без этих приготовительных знаний филологическое образование так же невозможно, как знание дифференциального исчисления без знания алгебры.

Но мы говорили только об одной стороне нового метода, филологической; а он имеет и другую сторону — философию языка <...>

Для чего нужно вводить философско-филологическое направление в первоначальное изучение грамматики? Для того, чтобы под формою грамматики учить детей филологии? Но филология такой же специальный предмет, как изучение восточных языков, и если не для чего желать, чтобы все мы выучились говорить по-арабски или по-персидски, то столь же напрасно желать дать всему обществу филологическое образование.

Или филолого-философские тонкости будут благотворною гимнастикою для ума? Но гимнастика должна быть соразмерна силам упражняемого в ней. Нельзя заставлять малютку бегать в латах Орланда или Амадиса Гальского: он падет в них, будет

лежать неподвижно. И разве в системе общего образования мало предметов, считаемых превосходною гимнастикой для ума? Таковы все предметы, доступные детскому уму и не лишенные внутреннего смысла.

1855. *Грамматические заметки В. Классовского.*¹⁵
С.-Петербург, 1855. Соч., т. II, стр. 682—686.

В прошедшем месяце мы говорили об учебном курсе русской грамматики,¹⁶ написанном с необыкновенно высокими философскими взглядами и чрезвычайно филологическою эрудициею.

Теперь перед нами лежит другой учебник русской грамматики, также написанный в духе сравнительной филологии <...> Мы не думаем сравнивать по достоинству две книги, о которых говорим. Но во всяком случае, частое появление грамматик, написанных с целью ввести филологическое направление в преподавание русской грамматики, доказывает, что этот метод, обольстительный по своей новосте у нас, начинает входить в моду. Потому нельзя оставить без внимания это модное направление.¹⁷ Мы уже говорили о том, что филология, наука, требующая слишком многих приготовительных познаний, не может быть предметом общего образования, как не могут входить в круг общего образования многие другие отрасли науки. Посмотрим же теперь на дело с другой точки зрения. Нужно ли, полезно ли стремиться к тому, чтобы ввести филологическое образование в круг общего преподавания?

Изучать родной язык необходимо, это не подлежит спору. Но с какой целью и в каком направлении должен каждый из нас изучать его? Конечно, для того, чтоб уметь употреблять его для выражения своих мыслей. Разговорное употребление изучается практически. Каждый умеет на своем языке говорить о всем, что только знает. Письменное употребление представляет некоторые трудности по запутанности нашего правописания. Итак, необходимо выучиться писать без орфографических ошибок. Этого легко достигнуть, и тогда мы будем вполне владеть своим языком, насколько то позволяют наши способности и степень нашего умственного развития. Никому из русских великих писателей не понадобилось филологическое образование, чтобы писать так прекрасно, как они писали. Не совершенно ли достаточно будет знать нам о нашем языке настолько, насколько знали о нем Жуковский, Пушкин, Грибоедов? Разве Пушкин неправильно употреблял прошедшее время глаголов? А ведь он не знал, соответствует или не соответствует оно греческому аористу, не знал, каким санскритским суффиксам соответствует наше — ль, которым характеризуется прошедшее время, не знал, что в слове «люблю» первая гласная есть старославянское йотированное *ou*, а вторая — старославянский *юсъ*, произносившийся с носовым отголоском. К чему нам знать, от какого корня происходят слова «рука» и «нога»? Разве не умеем мы и без того правильно упо-

треблять эти слова? Но этого знания мало, говорят приверженцы модного филологического воспитания <...>

Филология наука очень важная, — но для того, кто хочет ею специально заниматься; человеку, который не намерен сделаться филологом, санскритский язык не принесет ни малейшей пользы. Еще менее пользы приобретет он, научившись различать большое от малого. Странно даже доказывать такие простые истины. Но как же не защищать их, когда модное направление стремится к тому, чтобы вместо сведений о человеке и природе набивать голову юноши теориями придыханий, приставок, корнями и суффиксами.

Годы, посвящаемые человеком учению, драгоценные годы. Жаль тратить их на мученье ребенка или юноши над бесполезными тонкостями, которых не может он и постичь вполне.

*1855. «Высший курс русской грамматики», составленный
Вл. Стоюниным. СПб., 1855. Соч., т. II, стр. 694—696.*



1. См. также рецензию «Графиня Полина», повесть Авдотьи Глинки (т. 3, стр. 502—506).

2. В дальнейшем Н. Г. Чернышевский отзывался о Григоровиче более отрицательно, особенно при сравнении его произведений с произведениями о народе писателей-демократов 60-х гг. См., например, статью «Не начало ли перемены?» (т. 7, стр. 855).

3. Об архаизмах см. также в статье «Александр Сергеевич Пушкин, его жизнь и сочинения» (т. 3, стр. 323) и в статье «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность» (т. 4, стр. 56).

4. См. также рецензию: «Полное собрание русских авторов». Сочинение Василия Львовича Пушкина и Д. В. Веневитинова (т. 2, стр. 776—779).

5. Это высказывание, хотя и ошибочное по существу, интересно как свидетельство внимания молодого Чернышевского к форме, языку художественного произведения.

6. Первая редакция студенческой работы Н. Г. Чернышевского «О «Бригадире» Фонвизина» была впервые опубликована в собрании сочинений Н. Г. Чернышевского 1906 г., т. X.

Вторая редакция студенческой работы Н. Г. Чернышевского «О «Бригадире» Фонвизина» была впервые опубликована в сборнике «Шестидесятые годы». Изд. АН СССР, 1940.

7. Речь идет о пьесе А. Н. Островского «В чужом пиру похмелье», опубликованной в журн. «Русский вестник», 1856, № 2.

8. Речь идет о пьесе А. Н. Островского «Последняя жертва», опубликованной в журн. «Отечественные записки», 1878, № 1.

9. Речь идет о Н. А. Некрасове.

10. См. также рецензию: «Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований». Соч., Ор. Новицкого (т. 7, стр. 431), письмо О. С. Чернышевской 31 марта, 1878, т. 14, стр. 239.

11. Перевод: «О, как я люблю!» «Увы!» «Ах!» «О, нет!»

12. Эта глава (четвертая) настоящей статьи, запрещенная при жизни Н. Г. Чернышевского цензурой, была опубликована лишь в 1905—1906 гг. в собр. соч., т. 10, ч. 2.

13. О переводах см. также письмо А. В. Захарьину, 15 января 1885 г. (т. 15, стр. 502), И. И. Барышеву, 28 апреля 1889 г. (т. 15, стр. 844—845), А. Н. и Ю. Н. Пыпиным, 29 марта 1884 г. (т. 15, стр. 455—458), Ю. Н. Пыпиной, 25 февраля 1884 г. (т. 15, стр. 452—453).

14. См. также письмо М. Н. Чернышевскому, 7 марта 1881 г., т. 15, стр. 323.

15. См. также рецензию: «Русская грамматика В. Классовского» (т. 3, стр. 588—589).

16. Речь идет об учебнике В. Классовского «Грамматические заметки», который Н. Г. Чернышевский рецензировал в том же 1855 г. (т. 2, стр. 680).

17. Чернышевский отделяет филологию, как науку, от русского языка, как учебного предмета. Не снижая значения филологии — специальной области знания, он не считает необходимым делать ее предметом общего образования.

О предмете и методе филологического исследования см. в статьях Чернышевского: «Временник Императорского Московского Общества истории и древностей Российских» (т. 2, стр. 324—325); «О сродстве языка славянского с санскритским. Составил А. Гильфердинг». «Об отношении языка славянского к языкам родственным. Исследование А. Гильфердинга» (т. 2, стр. 412—419); «В воспоминание 12-го января 1855 г.» (т. 2, стр. 753—754); «История балтийских славян» А. Гильфердинга» (т. 3, стр. 543—545); в письмах: И. И. Срезневскому, 1851 г. (т. 14, стр. 219—220), А. Н. и М. Н. Чернышевским, 21 апреля 1871 г., 8 марта 1878 г. (т. 15, стр. 36; 193); М. Н. Чернышевскому, 1 апреля 1881 г. (т. 15, стр. 325); Ю. Н. Пылиной, 21 января 1884 г. (т. 15, стр. 446—447).